

Рисунок Настасьи Поповой

**П**ривет, гений, — поздоровался с ним кинооператор, заходя в студию. — Не терпится показать свой шедевр? Не красней, извини, пошутил неудачно. Ну, давай смотреть.

Застрекотал старенький кинопроектор, и на белой простыне появились кадры с изображениями блестящих, отполированных деревянных скамеек, стоящих рядами в вагоне. Они были такими новыми, что Штерну почудилось, что он вдыхает в магазине запах мебели или лакированного дерева. На одной из этих скамеек расположились две молодые тетки в цветастых платках с пустыми бидонами — молочницы. Они сидели друг напротив друга, смеялись, разговаривали и, вероятно, сплетничали о своих хозяйках. Затем разместилась молодая мать с карапузом на руках, круглым и похожим на арбуз. Его дразнила сестренка аппетитной булкой. Мальчишка сделал отчаянный рывок и схватил девочку за белый бант, скорее всего, больно-больно, потому что та заревела и стала разжимать его пальчики. На следующей в ряду скамейке сидя дремал парень, а на его

плече посапывала девушка, очень сладко и безмятежно, губы ее были слегка приоткрыты, и из уголка рта тянулась влажная дорожка слюны.

Далее камера прошла по вагону, где почти все места были заняты, но толчеи не было. Люди разговаривали, читали, спали, в окна практически никто не смотрел; что там, вероятно, мало кого интересовало. Но фокус оператора сместился, и камера стала наезжать на окно и...

Появилось стекло вагонного окна в косую полосочку, за ним, оказывается, существовал совсем иной мир. Там, за мокрой решеткой дождя, казалось, двигались ватники и шинели, причем без голов и ног, поскольку конечности, по неизвестной причине, оказались не в фокусе. Серые ватники везли тачки по деревянному настилу, рыли канавы, разгружали из вагонов бревна и кирпичи, таскали на себе мешки. Казалось, что небо опустилось на их головы, оставив лишь узкую полоску света, очерченную деревянными бараками. По краям железной дороги шли столбы с колючей проволокой. Проволока, скрученная в большие

мотки, была растянута между столбами, а рядом с этими мотками стояли шинели, похожие на огромных пауков, заманивающих ватники в свою паутину из колючей проволоки.

Пленка закончилась. Штерн молча встал, закурил и вышел. Ванька долго сидел красный и мокрый от пота. Учитель вернулся.

— Ты знаешь, Вань, я не шутил, ты большой молодец и снял очень здорово. И чтобы бы ты сильно не зазнавался, забудем о твоём кино и спрячем его в дальнем шкафу, к примеру, вот в этом, и ты посмотришь его, когда станешь взрослым, лет этак через десять. Добро? Согласен? — спросил Штерн, сняв бобину с остатками пленки и быстро спрятав ее в шкаф, закрыл его на замок.

— Согласен, — с облегчением выдал из себя Иван.

— Ну и ладушки, пошли, я тебя провожу до вокзала, — предложил учитель и потрепал парнишку по голове.

После этого случая на вольную тему больше снимать Марк Петрович Ване не разрешал.

## 5. ГЕРОИ УХОДЯТ

Лето пятьдесят третьего года для семьи Герцевых стало необыкновенно удачным. Михаил Михайлович защитил докторскую диссертацию и был приглашен на работу в Демидовскую больницу на должность заведующего хирургическим отделением. Сын Ваня, после нескольких лет работы санитаром, поступил в медицинский институт на лечебный факультет. И наконец-то вся семья из Никольского вернулась в Москву, поселившись в «Чкаловском» доме недалеко от Курского вокзала.

Сегодня доктор Герцев-старший ушел из клиники пораньше, он договорился встретиться со своим старым другом. Много лет тому назад они вместе служили в корпусе Мамонтова. Их объединяли не только хирургия и совместная молодость, но и доверие друг к другу, проверенное годами.

Михаил Михайлович вышел на Басманную улицу, далее спустился по Садовому кольцу и свернул к Странноприимной больнице, более известной москвичам под названием «Институт скорой помощи имени Склифосовского, или «Склиф». Там главным хирургом работал его друг Александр Александрович Рюмин. Доктор Герцев специально пошел пешком, чтобы подумать и подготовиться к встрече.

«Рюмин по амнистии только что возвратился "оттуда", однако ему вернули звание академика, награды, должность, имущество и даже Сталинскую премию. Этого никогда не было раньше. Что же происходит? Вроде бы Саша опять в фаворе, но его голос звучал по телефону как-то слишком глухо. Он сказал: "Приходи в любое время, его у меня сейчас много". Странно, очень странно», — думал доктор, поднимаясь по лестнице на второй этаж

правого крыла Странноприимного дома.

Архитектор Кваренги выстроил это здание в виде подковы, в центре которой находилась когда-то церковь, от нее по сторонам расходились крылья дома, где и располагались больничные палаты. Несмотря на то, что церковь была превращена в вестибюль, где под толстым слоем штукатурки были похоронены фрески восемнадцатого века художника Доменико Скотти, госпиталь сохранил величие и изящество светлых коридоров.

Герцев-старший постучал в высокую дубовую дверь, окрашенную в белый цвет, нажал на бронзовую массивную ручку и переступил порог. Кабинет и его хозяин по форме были почти такими же, как и пять лет тому назад до ареста, но по сути сильно изменились. Исчезла статуэтка бога торговли и медицины Меркурия со стола красного дерева, картина с коронацией Александра Третьего с левой стены, маленький столик с раскрытой партитурой, скрипка, гитара, патефон и этажерка с пластинками, остались лишь сухие портреты ученых слева и книги. А сам хозяин кабинета из подтянутого щеголя с подвижным артистическим лицом и длинными пальцами скрипача превратился в маленького сутулого сухого старичка с прозрачными руками и одутловатым лицом.

— Здравствуй, Александр Александрович, как я рад тебя видеть! — радостно воскликнул Герцев.

— И я очень рад тебя видеть, Михаил Михайлович! — как-то отстраненно отозвался хозяин кабинета.

— Саша, ну что ты сидишь за столом, как неродной?! Обнимемся, что ли, пять лет ведь не виделись! — произнес гость, несколько растерявшись от холодности Рюмина.

— А замараться или заразы какой подхватить от меня не боишься? — спросил Александр Александрович, пристально посмотрев в глаза вошедшему.

— Дурак ты, Сашка, это же я! Худой ты какой, но сильный, чертяка, раздавишь, — смеялся Герцев, бережно прижимая к себе друга, все же раскрывшего ему свои объятия.

— Ну что, по рюмочке, за встречу? — предложил Александр Александрович, подошел к старинному шкафу в стиле жакоб, достал бутылку армянского коньяка, наполнил две рюмки янтарной жидкостью, одну взял сам, вторую протянул другу и, смакуя, стал пить маленькими глотками.

— А аромат, аромат каков, напиток богов, это мне много лет тому назад генерал армии Баграмян подарил. Хорошо! Да, давай еще по одной, за нашу дружбу. И садись сюда, на диван, поговорим, посмотрим друг на друга, пять лет ведь не виделись!

Двое мужчин: один в белом халате и шапочке, второй в сером костюме и берете — сели на старый кожаный диван с высокой резной спинкой и продолжили разговор.

— Видишь, Миша, я стал совсем другим человеком. Да, другим, чтобы вернуться обратно, мне необходимо было уничтожить себя прежнего. Изменить частоту своей души. Раньше я жил в мире, что творил сам, и заставлял любого, с кем был связан, жить так, как я считал нужным, по моим собственным законам. Сам находил деньги, оборудование, перестраивал эту больницу, придумал структуру службы неотложной хирургической помощи, шутка ли, для всей страны! Когда я входил в операционную и видел больного, то слышал его уникальную мелодию. Я становился к операционному столу и брал первый аккорд, потом второй, третий, ткани



не твоими глазами. К примеру, красоту Елены Троянской описали тысячи, а изобразить посмели единицы. Надо лететь, смотреть лики, фрески в храме, потом и помереть можно. Поехали со мной, Мишка, в Киев, в июне съезд хирургов Украины. — В глазах Александра Александровича стояла такая мольба, что отказать было невозможно.

— В Киев? С тобой? На съезд хирургов? Конечно, поеду. А о смерти думать ты брось, пустое это, когда придет, тогда придет. Иногда и отсрочить ее можно. Ты вон, я слышал, каждый день ее отменяешь, раза по три-четыре. Три сложнейшие операции в сутки делаешь, разве можно так над собой издеваться?! Говорят, твою операционную пижаму после этого выкручивать можно. Ремонт опять в госпитале затеял. Слухи ходят, сам на леса лазишь, фрески Скотти пытаешься обнаружить. Всю свою коллекцию картин по палатам развесил. Никому не доверяешь, сам даже гвозди вбиваешь. Ординаторов увольняешь. Вот и усталость. Отдохнуть тебе надо, съездил бы в Крым, в санаторий, — маленькими глотками отпивая коньяк из рюмки, ласково выговаривал другу Михаил Михайлович.

— Нажаловались уже, и когда только успели. Попросил я тут одного ординатора повесить картину Кукрыниксов в палате для выздоравливающих. На утреннем обходе захожу туда и вижу — картина на стене висит криво. Конечно, я его уволил. Какой он хирург, если даже картину не может правильно повесить. У хирурга руки — не менее значимый орган, чем голова. Тренировать их надо сутками, овладевать хирургическим языком в совершенстве. Руки — это глаза хирурга. Хирургия — сплав науки и искусства. Не потерплю ремесленников в своей клинике, — возбужденно говорил Рюмин, молодо размахивая руками.

струились через мои пальцы. Мне казалось, что я играю на струнах души оперируемого мною человека. Я чувствовал себя таким огромным, таким значимым, уникальным и незаменимым. Я считал, что моя самоотверженная круглосуточная работа и тысячи спасенных мною жизней дают мне право владеть, управлять, распоряжаться мощнейшим потоком творческой энергии, какую я черпал у кого только мог. Я блаженствовал и набрал такую скорость, что потерял опорную ось и сорвался со своей орбиты.

Падение было мгновенным. Как мне было больно! Не потому, что следователь на Лубянке выбил мне зубы, выворачивал веки и не давал спать, как раз физические страдания, голод и холод помогли мне справиться с этой болью. Не потому, что я боялся клеветы, сплетен, потери своего честного имени, предательства семьи и друзей. Нет! Я попал в место, абсолютно лишенное творческой энергии.

Помнишь, в учебнике по Закону Божьему было написано о Деннице: «... и отправили его в место удаленное от Бога, и назвали это место Адом». Ад — это место, где нет энергии Творца, где невозможно творить. Я понял это только там, на последнем рубеже.

Миша, ты не только мой старый друг, ты еще мой коллега, хирург и ученый, я могу поговорить об этом только с тобой. Многие

годы меня не устраивало ни одно определение острой дыхательной недостаточности или остановки дыхания, и только там я понял, что человек перестает дышать, когда душа отделяется от тела. Сердце еще бьется шесть минут, а душа уже улетела. И за все, что ты накопил за свою жизнь, платишь, все отдаешь в эти шесть минут боли. Попробуй задержи дыхание. Почувствуй муку удушья. Отсутствие энергии — это и есть дуновение ада.

Я был в тюрьме три месяца и три года. В разных мирах, Миша, время течет по-разному. Мне вернули душу, думаю, по молитвам жены моей, но другую. Плохо мне жить с этой душой, маленький я стал, слабый, сгорбленный, ничего не могу, пуганный. Все время думаю о том, как бы кому на ногу не наступить.

В Киев хочу съездить в Кирилловскую психиатрическую больницу, там церковь сохранилась, что расписывал сам Врубель. Последнюю свою фреску «Скрежет зубовой» художник творил, когда был уже тяжело болен, и душа его находилась между мирами. Не успел он ее закончить, умер в этой больнице.

Понимаешь, я только соприкоснулся с чертой, ощутил ад, а Врубель — художник, он еще его и видел. Хотя на такое способны писатели и поэты. Картины, фотографии, киноленты могут передать только впечатление, и то

— Ну вот, узнаю старого маэстро Рюмина. А то — «бою на ногу наступить!» А за парня, которого ты уволил, хочю тебе спасибо сказать. Взял я его к себе в отделение. Боялся он тебя сильно, авторитетом ты его задавил, вот он и не раскрылся. Хирургические инструменты он изобрел интересные. С детства у него руки не очень ловкие, вот и сделал он несколько приспособлений таких, с которыми хирург с руками ремесленника чудеса творить может.

Технику, новые медицинские препараты для анестезии изобретать и применять надо. Вот и не нужны будут тогда уникальные руки в хирургии. Уходят из жизни титаны и герои, Саша. И может быть, нашим детям повезет, они не будут жить в героические времена, требующие титанических усилий. А будут жить своими частными маленькими жизнями, не служа великим целям. Самое сложное и тяжелое за них будут делать машины, которые не станут себя считать ни уникальными, ни незаменимыми, ни героическими. Они ведь не люди, и у них нет таких проблем, — продолжал Михаил Михайлович.

— Да, Миша, интересно. Я знаешь, там, в тюрьме, одну философскую книжонку написал на листках папиросной бумаги. Сначала, чтобы остаться человеком, по памяти «Илиаду» Гомера в переводе Гнедича записал, а потом — ее. Так вот, название книжонки — «Герои уходят».

Как-то во время очередного обыска нашли в моей камере листки с отрывками из «Илиады» и передали следователю. Он мне их тычет в лицо: «Что это?» Отрывок из «Илиады» Гомера, отвечаю я. Следователь оказался довольно образованным человеком, о Гомере слышал. Но в бешенство пришел необычайное. Он кричал, что я враг, что теперь он не сомневается, что я английский

шпион, потому что советский человек не может после его допросов вспоминать Гомера, а должен скулить и писать покаянные письма в адрес следствия. Он орал, что я презираю всех окружающих и что если я даже не шпион, то меня все равно надо уничтожить как классового врага, — разоткровенничался со старым другом Александр Александрович.

— Саша, если не хочешь — не отвечай, но почему именно английский шпион, а не французский или американский? Ты ведь знаешь пять языков и на стажировке был в Америке в тридцатые годы, — как-то немного стесняясь, спросил Герцев.

— Да, глупость я сморозил, из времени выпал, забыл, что классовых врагов уничтожают. Прав был следователь, ни одному советскому человеку в голову бы это не пришло.

В войну во время посещения госпиталя иностранной делегацией познакомился я с английским послом Керром. Англичане привезли тогда в подарок оборудование и медикаменты для раненых. Мы долго беседовали и подружались. Война закончилась, и я решил вернуться к реконструкции госпиталя. Очень уж мне хотелось извлечь легендарные фрески кисти самого Доменико Скотти из-под штукатурки в вестибюле больницы, где когда-то была Троицкая церковь. И я написал письмо господину Керру с просьбой ходатайствовать перед товарищем Молотовым об ускорении начала реконструкции Странноприимной больницы. Это и послужило формальным поводом обвинить меня в шпионаже в пользу Соединенного Королевства, — спокойно ответил на вопрос друга Рюмин. — Ну что, Миша, еще по одной?

— А ты знаешь, не откажусь, устал сегодня чертовски! Я вот что хотел у тебя спросить, Саша, а что за философскую тетрадь ты написал там, у черты, да еще с таким

названием «Герои уходят»? — заинтересовался необычной книгой Рюмина Герцев.

— Понимаешь, Мишенька, вспоминая и записывая Гомера, я вдруг понял, что он излагает историю человечества как историю войн. Так Диомед, Агамемнон, Аякс, Гектор были всегда центром событий. Не нищета и обстоятельства рождали гениев и героев, а сверхъестественные силы, воплощением которых они и являлись, сталкивались в боях. Посмотри, Эней — сын Афродиты, Ахиллес — сын Фетиды.

Только Советский Союз с его железной дисциплиной и ужасающей жертвенностью каждым во имя единой цели мог стать воплощением той сверхъестественной силы, что столкнулась в единоборстве с другой силой — фашистской Германией. С землетрясением договориться нельзя, Миша, его нельзя понять, а можно лишь постараться выжить.

Земля устала, ее страсти утихают. Герои уходят из реальной жизни в параллельный мир фантазии, искусства, и те, кто их еще помнит и помнит это ощущение — каково быть героем, — должны уйти вслед за ними тоже. Подвиги требуют слишком больших затрат энергии. Развитие нации зависит не от ее способности к созиданию, а от ее неспособности к разрушению.

Оглянись, вокруг одни руины. А я как не от мира сего, фрески реставрирую, картины в больничных палатах развешиваю. Не хватает хлеба, медикаментов, квалифицированного персонала, тепла. Тот, кто летал, ползать не захочет. Уходить, Саша, мне надо, уходить. Мое время ушло. Я пытаюсь его оживить, как будто зеленой краской раскрашиваю пожухлую траву. А ничего не получается, холодно, серо, одиноко и очень скучно... Стоп. Все обо мне и обо мне. Как ты сам? Как семья? — резко переменял тему

разговора хозяин кабинета, не забывая при этом наполнить рюмки.

— У меня много изменений. Я вернулся в Демидовскую больницу, получил шикарную квартиру в «Чкаловском» доме. Приглашаю тебя в гости с супругой в это воскресенье на новоселье. Приходи, будут только свои, очень близкие люди. Сыну Ваньке — двадцать лет. В этом году — оболтус — поступил в медицинский институт, но учится без всякого интереса. Увлекается фотографией и киносъемкой, пропадает на «Мосфильме» и на киностудии учебных фильмов при институте. Друзья, танцы, молодость. Может, ты на него повлияешь? — обратился Герцев к Рюмину с просьбой.

— Да, мы с тобой чуть постарше его были, когда ушли на ту, почти забытую Первую мировую, которая, надеюсь, наконец окончилась в сорок пятом. И мы с тобой в жизни только и делали, что шили и штопали искалеченных на войне людей. Хорошо, что Ванька другой и время у него другое. Знаешь, раз он увлекается кино, есть у меня для него подарок — трофейная американская кинокамера. Мне из МИДа, по случаю, старый товарищ принес, зная, что я коллекционирую различные исторические вещицы. Кинокамерой этой пользовались американские операторы, снимая Ялтинскую конференцию, а потом подарили нашим. Пусть Ванька новое время снимает, — произнес Рюмин, встал, подошел к своему письменному столу, выдвинул нижний ящик и достал оттуда коричневый кофр. — Передай Ваньке кинокамеру от меня, удачи ему. Держи!

— Спасибо огромное! Королевский подарок! — поблагодарил Герцев друга, осторожно принимая кофр с камерой.

— Извини, Миша, но это скорее аванс, чем подарок. Задумал я сделать музей госпиталя. И хотел бы попросить Ваню снять фильм

об истории Странноприимного дома, о его прошлом и настоящем, о людях, с именем которых связана эта больница. Ведь участницы всех военных батальев, начиная с Отечественной войны двенадцатого года, лечились здесь.

Я здесь, в больничном архиве, недавно откопал историю болезни самого князя Багратиона. Очень интересно. Оказывается, причина его смерти — в запоздалой диагностике, правильное лечение начали с опозданием. Врачи явно боялись оперировать князя, а был бы он рангом пониже, прооперировали бы вовремя, и не умер бы он от осколочного ранения костей голени.

Так что жду Ивана завтра у себя часов в шесть вечера. До свидания, если не будет срочной операции, увидимся. Привет супруге! — произнес академик, скрывая от друга, насколько сильно он устал от их встречи.

Мужчины обнялись на прощание, Александр Александрович вернулся к столу, а Михаил Михайлович вышел из кабинета со свертком под мышкой. Он спустился с лестницы, еще раз поднял голову и посмотрел поверх лесов, установленных в вестибюле больницы. Стоял и долго пытался рассмотреть уже раскрытые фрагменты фрески, пока его шея не одеревенела.

Доктор Герцев-старший покакрутил головой, чтобы размять шею, и уже двинулся к выходу, когда мимо него пробежала заплаканная молодая женщина, а за ней вторая. Старая знакомая доктора, санитарка тетя Катя, сердито мыла полы и ворчала:

— Вернулся, нехристь, на нашу голову, сам покоя не знает и другим не дает!

— Добрый вечер, Екатерина Петровна, что случилось? — поздоровался с женщиной Герцев.

— Здрассте, Михал Михалыч, кому добрый, а кому и не очень.

Да друг ваш лучший опять новую докторшу обидел. Ну не любит он женщин-хирургов, считает, что это сплошное недоразумение и несчастье. А тут еще увидел молоденькую нашу Раису Федоровну, всю покрашенную и надушенную, да как заорет: «Мыться в ванную комнату, немедленно, это больница, а не бордель, а вы, милостивая государыня, врач, а не маркитантка!» Она, конечно, в слезы — и убежала. Да это цветочки, на прошлой неделе, во время операции, стукнул анестезистку Лиду Анисимову. Оно, конечно, за дело, не мечтать надо, а за давлением больного следить. А та в местком побежала жаловаться. Главный врач к нему пошел, разговоры разговаривал. После чего маэстро извинился перед Лидой сквозь зубы. Вы бы поговорили с ним, Михаил Михайлович, а то люди — злые, опять беда может приключиться. Товарищ Сталин, покойный, говорил: у нас незаменимых нет. Да ты иди, иди, соколик, а то натоптали, мыть пол мне надо, некогда. Докторов много, а полы мою я одна, — рассказывала гостю последние события уборщица, ловко орудуя шваброй.

В июне пятьдесят четвертого академик Рюмин прилетел в Киев и посетил старую церковь в Кирилловской психбольнице. Он долго смотрел на врубелевского белого голубя, под самым куполом храма парил Святой Дух. По возвращении обратно в Москву в самолете Александру Александровичу стало плохо, сильно заболело сердце. Ехать в больницу хирург отказался, из аэропорта отправился прямо домой и лег отдохнуть на диван в своем домашнем кабинете, где жена ранним утром следующего дня и нашла его мертвым.

Продолжение следует.